

Червиньски П.
Катовице, Польша

СЕМАНТИКА СОВЕТСКОГО ПОЗИТИВА В КОНТЕКСТЕ ПРОДУЦИРУЕМОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

УДК 321.0

Код ВАК 10.02.05; 10.02.19

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим основаниям для дифференциации трёх советизированных языков: русский язык советской эпохи, советский новояз и язык советской реальности. Выводятся их признаки и критерии разграничения, возможность рефлексии в словарях, тенденции угасания в так называемый постсоветский период. Язык советской реальности соотносится с языковым сознанием и языковой картиной мира носителей и определяется как результат возросшего советского коллективного опыта и сосуществования. Отсюда проистекают сложности преодоления, невидимое присутствие в последующие периоды языкового развития. На словарных примерах показаны признаки каждой из трёх версий советизированного языка; планируются подходы системного прагматического исследования языка советской реальности, который характеризуется порождающим отношением к реальности и к человеку как представителю советского общества.

Ключевые слова: Советский политический дискурс; политическая лингвистика; обозначения лиц; негативная оценка; позитивная оценка.

Сведения об авторе: Червиньски, Петр

Ученая степень, звание: Доктор филологии, профессор

Место работы: Силезский университет, Институт восточнославянской филологии, кафедра русского языка.

Должность: профессор, зав. кафедрой

Контактная информация: ul.Zytnia, 12. 41-205, Sosnowiec, Poland.

E-mail: czerwinski@ares.fil.s.us.edu.p

Одна из ведущих задач той формы национального языка, которую было принято во времена ее бытования определять языком советской эпохи, русским языком советского времени, языком послеоктябрьского периода, русским языком после Октября, после Октябрьской революции [Ожегов 1951; 1953; Протченко 1975; Супрун 1969 и др.], иногда, не подчеркивая, просто *современного* русского языка, подразумевая при этом советский период, что также связывало язык с его временем, т.е. дихотомической, перспективой, – одна из ведущих задач определяемого таким образом языка состояла в формировании нового человека. Советского человека как достойного представителя не менее достойного советского общества, порожденного и воспитанного, вызванного к жизни и выпестованного все тем же, давшим начало всему тому, Октябрьем.

Определение и изучение особенностей этой возникшей и развивавшейся формы-стадии язы-

Czerwinski P.
Katowice, Poland

SEMANTICS OF THE SOVIET POSITIVE IN THE CONTEXT OF CREATING THE REPRESENTED REALITY

Abstract. The article is devoted to the theoretical bases consideration of three Sovietized language versions differentiation – Russian of the Soviet epoch, Soviet newspeak and language of the Soviet reality. There are deduced the attributes and bases of their distinction, opportunity of reflection in dictionaries, tendencies of fading in so called Post-Soviet period. Language of the Soviet reality contacts to the language mentality and language world picture of speakers, being defined as result of accrued Soviet collective experience and Soviet combined being. Hence follow the complexities of overcoming, opportunity of invisible presence in the subsequent periods which have stepped after a leaving of the Soviet time language and its changing by subsequent phases of language development. On examples from the dictionaries there are shown the attributes of each of three versions of Sovietized "languages", there are planned the approaches to the system-paradigmatic research of the Soviet reality language characterized on the basis of the producing attitude to the real world and man as to the representative of Soviet community.

Key words: Soviet political discourse; political linguistics; personal nominations; negative connotation; positive connotation.

About the author: Czerwinski, Petr

Academic degree, academic status: PhD in philology, professor

Place of employment: University of Silesia, Institute of East Philology, Chair of Russian Language

Position: professor

ка, отмечаясь временем и характеризуясь, соответственно, как язык эпохи, непосредственно связывались с развитием общества. Советского общества, как было принято обозначать [Панов 1962; Русский язык и советское общество 1968; Русский язык по данным массового обследования 1974], подчеркивая в нем то, что делало его социальной формацией, наделенной признаками собственного, ни с чем другим во времени до и в пространстве вокруг, не сравнимого существования. Замкнутого, изолированного, обособленного, а потому в известном смысле искусственного и культивируемого. Удобного, как оказалось (не рискую сказать – оказалось), для претворения в жизнь известных идей, для привития их общественному сознанию, социальному организму и воспитания в новом духе подрастающих, рождающихся, а потому не испорченных ничем предыдущим во времени и вне пределов данного государства, поколений советских (теперь с полным правом) людей. Удобного также, как

следствие, для претворения в жизнь и затем закрепления определенного рода манифестаций – привычек, навыков, установок, реакций, знаковых форм и символов, стереотипных, шаблонных, стандартных по своей изначальной природе, поведенческих, психологических, ментальных и экспрессивных, объявляющих и обнаруживающих себя в том числе и вербально, в узусе речи и языка. Удобного для претворения и удобного для обнаружения, а тем самым, и для исследования, в задачи которого могло бы входить, наряду с другими, не менее важными, и то, чтобы определить, как, каким образом, по каким законам и в каких пределах возможно намеренно ориентированное, в условиях исключительности и отсутствия альтернативы, воздействие, через эти самые шаблонные формативы, на язык и общественное, равно как и индивидуальное (в какой только мере?), языковое и речевое сознание.

Повышенный интерес 20-х годов к проблемам языковой эволюции, изучению и определению форм и стадий языкового существования, в том числе, если не прежде всего, в его революционном, качественно переходном (скачкообразном), сменяющем проявлении, интерес к социальным феноменам языковых состояний, взаимодействию языка и мышления, языковым межнациональным контактам в пространстве общего идейного, политического и социального бытия¹, – был поэтому не случаен. Как естеств-

енная реакция на процессы, непосредственно наблюдаемые и происходящие, и потому хорошо поддающиеся тому, чтобы, подняв соответствующие проблемы, попробовать их описать. Однако естественность, будучи мало свойственна накладываемой на общественно-государственное бытие социальной идее, могла бы, сама в себе, не туда, куда следовало, куда декретировалось и куда намечалось в ближайшем и отдаленном будущем советские мысль и общество завести, в связи с чем подобного рода исследования, не поощряясь, были отчасти переориентированы во что-то другое, а в основном остановлены и прекращены.

Последующий к ним интерес, в 60-е и 70-е годы, принял иные формы. Не только и даже не столько в силу естественным образом себя проявляющей невозможности возвращения к прошлому в его прежнем виде, т.е. на том же этапе, сколько в силу вполне понятных, все тех же идейных причин, объективно и субъективно сводивших научный лингвистический интерес к языковому советскому состоянию либо к изучению языка вне этих его, описываемых как явные, советизированных приобретений, либо ограничивая их в отношении новое и старое в языке, обновление и устаревание, пассив и актив словаря, его пополнение, обогащение и динамика, теория и практика описания, добавляя к этому, представленные в контексте развития новой социальной формации – советского общества – социолингвистические проблемы влияния этого общества, его развития и изменений на виды и формы динамики (т.е. опять-таки пополнения, обогащения или устаревания) словаря языка². Исследуются процессы активного пополнения и развития лексики в словообразовательном и тематическом отношении. Рассматриваются проблемы влияния социальных и профессиональных факторов на лексемный состав языка. Изучаются группы общественно-политической лексики, группы обозначения лиц, делаются попытки исследования особенностей газетного языка, языка пропаганды, языка полемических текстов и выступлений основоположников советского государства, известных партийных деятелей и т.п.³

Обстоятельный экскурс в проблематику исследований советизированного языка, современных ему (советизированных признаков русского языка), предполагал бы лишь уточнения сказанному, однако интересующие нас аспекты в них не затрагивались. Не только в силу из-

¹ См. известные работы А. М. Селищева, Е. Д. Поливанова, В. М. Жирмунского, Л. П. Якубинского, С. И. Карцевского, Г. О. Винокура, Р. Якобсона и др., а также Н. Я. Марра и его направления, широко и последовательно занимавшихся теми вопросами, которые, пользуясь современными представлениями, можно было бы отнести к проблемам социолингвистическим, лингвокультурологическим, лингвокогнитологическим, проблемам, связанным с изучением появления, становления и эволюции языка в связи с развитием языкового сознания, стадий и форм исторического и формационного развития общества и т.п. Поскольку обзор научной литературы вопроса в предлагаемом случае требует самой серьезной, последовательной и обстоятельной разработки, возможно, на принципиально новых основах и с концептуально иных, чем это было ранее, методологических позиций и предпосылок, простое упоминание имен исследователей как 20-30-х, так и последующих годов, мало бы что дало. В связи с чем исследовательская история поднимаемой проблемы, в ее намечаемом концептуальном ключе, не бывши предметом данного, а также последующего предполагаемого рассмотрения, была отложена. Предпринять подобный обзор имело бы смысл уже после того, как будут предложены принципы описания системы, лежащей в основе порождения и восприятия изучаемого языка, определяемого в понятиях семантического языка, или кода, в собственном, характерном для него парадигматико-синтагматическом проявлении и устройстве. Поскольку подобный подход к языку советской действительности, в силу понятных причин, в целом не был, да и не мог быть, свойствен работам предшественников, обращение к их отдельным высказываниям и, без сомнения, ценным и важным идеям, работающим на предполагаемый исследовательский контекст, не может быть только отсылочным, требуя сложного процедурного определения с целью включения, вписывания их в новые представления и ментальные парадигмы. Все это не может быть в настоящее время осуществлено, исходя из чего, в отношении представления подходов и взглядов других исследователей предлагаем читателю обращение к не редким и широко доступным работам, содержащим подобного рода отсылки и отнесения.

² Достаточным в этом контексте будет упомянуть фундаментальное, обобщающее и вместе с тем намечавшее перспективу подобного изучения исследование [Русский язык и советское общество 1968], с последующими разработками данной проблематики на том же исследовательском и методологическом основании.

³ Обзор указанной проблематики и следующих из этого направлений и тем исследования довольно подробно представлен в работе [Протченко 1975].

вестных идеологических ограничений, но также и в силу существовавшего взгляда на сам объект. Советизировавшийся русский литературный язык (жаргонные, сленговые и аротические проявления в расчет не брались) воспринимался, не без оснований, как **современный** русский язык, т.е. как его временная форма и стадия, еще одна, очередная по времени, вызванная к жизни революционными социальными изменениями, радикальными и неотвратимыми по своему существу. Вряд ли что-нибудь из этого можно было бы опровергать, поскольку одно дело русский язык советской эпохи – в своем социальном и временном представлении, принимать его субъективно или не принимать, другое дело тот русский язык, точнее та форма его, которая определяется как новояз, новомова, ньюспик, а также другими словами, воспринимаемый как упрощение, извращение, отклонение, порча, одеревенение, как искусственный, как пропагандистский, не информативный, не коммуникативный, односторонне воздействующий, лишенный признаков живого общения и коммуникантов, ритуализованный (см. об этом [Dieckmann 1969; Język propagandy 1979; Pisarek 1979; Łuczaj 1980; Bednarczuk 1984; Bralczyk 2001; Серио 1999; Шарифуллин 1990] и др.), идеологизированный, политизированный и т.п.

С прекращением его такого односторонне идеологизированного общественного действия и воздействия появились возможности ставить очередные вопросы. Уходящий в пассив новояз 1) не сменяется ли каким-то очередным – одним или не одним – новоязом? 2) не порождается ли это преемственностью каких-то все же имеющих свое право на существование или, точнее бы было сказать, присвоивших себе это право узуально-речевых форм языка? 3) чем отличается в таком случае тот уходящий от приходящих ему на смену? и 4) не является ли это какой-то формой его перехода, перемещения, претворения, мимикрии, а где-то в какой-то сущности это все тот же он? И тогда тот советский можно было бы интерпретировать как вариацию общего, возможно типологического, инварианта, наиболее полно себя ухитрившуюся реализовать. Инварианта какого-то проявления, какой-то особой формы того или иного национального языка (может быть, языка вообще, без специфических признаков национального, являющихся себя лишь в словах, на поверхности, на вербальном верху). Какой-то формы, определяемой как пропагандистская, или воздействующая, манипулятивная, как язык политики, т.е. осуществляемой, достигаемой с помощью средств языка общественно ориентированной суггестии, предполагающей необходимость включения в сознание воспринимающего некоего желаемого шаблона – отношения, понимания, оценки, и на этой основе затем такого же желаемого и побуждаемого к осуществлению ответного, реактивного действия.

Провожаемый с облегчением (может, кем-нибудь с сожалением), замещаемый либо оставляющий присвоенное себе, достойное некогда, место пустым, воспринимается он теперь, советский язык-новояз, в основном в двух отношениях. С одной стороны, как набор советизмов – узнаваемых, отмеченных средств, лексических, фразеологических, клишированных, шаблонных, устойчивых языковых единиц, к которым можно было бы добавить также структурные – словообразовательные, синтаксические и текстовые (порождения и восприятия текста). С другой, и нередко в связи с советизмами, на основе и на материале их, – как набор категорий мышления, определяемого часто как тоталитарное [Arendt 1989; Гаджиев 1992; Данилов 1999], а отсюда и тоталитарный язык [Rzevskij 1951; Broński 1979; Зильберт 1994; Купина 1995 и др.], со своими особенностями и признаками, проявляющими себя в приемах и способах оформления и восприятия значений, приемах и способах речевого воздействия, приемах и способах вербальных и не только вербальных манифестаций – реакций, ориентаций, оценок, выборов, системоценностных установок и пр. Определяясь при этом, вполне обоснованно, как такая ментально организованная (организующая) система, которая, действуя на сознание, производит это при помощи языка, т.е. его лексических и структурных средств, а вне себя положенной целью имеет проекцию, проявление человека к действительности, его провоцируемое участие в ней.

Сразу необходимо поставить важный для представления всего дальнейшего, имеющий методологический смысл, вопрос. Может ли, для большей точности – мог ли, советский язык-новояз, тот уходящий или уже ушедший, а следовательно, и какой-то другой, т.е. как форма, как таковой, быть – не предназначенным, а способным к решению подобного рода задач? Можно было бы выйти из этого легко находимым ответом – не мог, и потому-то поставленной перед ним задачи не осуществил. Не осуществил и потому отошел. Далее из этого можно множить суждения типа будь бы на его месте другой какой новояз, более подходящий и совершенный, тогда бы еще, может, что-то и как-то, а этот слишком уж вышел какой-то дубовый, негибкий и ни к чему непригодный. Можно добавить к этому, также вполне обоснованно, аргументы иного рода – не мог он этого сделать по самому своему существу, потому что ведь не язык, а действительность, жизнь, ее условия и обстоятельства, регулирует и направляет действия и проявления человека. Инструментальный характер (каковой, видимо, следует приписать новоязу) воздействующей на сознание человека в его отношении к действительности вербальной системы сам по себе ничего или мало что, применительно к заложенной в инструменте цели, (не) будет обозначать без согла-

сования всех составляющих – человека с его сознанием, языка-инструмента и изменяемой в планируемой сознанием через язык, определяемой отношением к поставленной цели действительности.

Поставленный в предыдущем абзаце вопрос, таким образом, требует более сложного разрешения, упирающегося не в язык советской официальной политики и пропаганды, не в тоталитарный язык, не в новояз, как бы его ни назвать, пусть даже и с выходами из него в язык антитоталитарный, язык противодействия, язык противостояния [Вежбицка 1993; Купина 1995; 1999] или как-то еще, а в нечто большее, частью чего, может быть, ведущей и направляющей, продуцирующей, а может, наоборот, ведомой и направляемой, т.е. продуктом, а может, и это скорее всего, с заменой и разнообразием всех возможных ролей, частью чего этот самый советский язык-новояз и является. Назовем условно этот язык языком советской действительности, подчеркнув в нем отличие, с одной стороны, от прямого конструкта и инструмента – пресловутого новояза, а с другой, и это не менее важно, от русского языка советского времени, или советской эпохи, русского языка послеоктябрьского периода и пр. Отличия, как представляется, и в том и в другом отношении концептуологически важные.

Язык советской действительности, в силу такого определения и понимания, с одной стороны, не представляет собой узульную только форму, форму особого употребления того или иного национального языка, русского в данном случае, с приписываемыми ему признаками пропагандистско-официозной, односторонней действующей функциональности, искусственной ограниченности и замкнутости, ведущими к его особому положению в системах коммуникаций распознаваемости и негибкости. Особенности его положения, создавая приоритеты и выгоды в условиях унитарной системы, равно как искусственность и узнаваемость, становятся неизбежной причиной его падения и ухода в пассив. Тесно связанный с существующей политической и идеальной доктриной, новояз неизменно уходит со сцены одновременно с ней. С другой стороны, язык советской действительности не следует определять и привязывать, как русский язык советского времени или советской эпохи, послеоктябрьского периода и т.п., к исключительно временной и общественной, социально- temporальной, если объединить, перспективе. Язык советской действительности, как это следовало бы из определения, является порождением не вводимых обществом и вызванных временем, во времени и ко времени, изменений, намеренно и ненамеренно, в силу диктуемых натуральных либо наязвываемых причин, а следствием существующей (существовавшей) во всем ее многообразии, планировавшемся и нет, советской дейст-

вительности, с ее особенностями, отличающими ее от других. Действительности, однако, не только и даже не столько реальной, имевшей место в своем бытования и наблюдавшейся, сколько ментальной и сенситивной, присутствовавшей в сознании и несознании, чувствуемой, переживаемой человеком, его психологическим естеством. Той действительности, которая, давая и порождая внутреннее, часто неясное, осознание и ощущение, присутствует имманентно, как способ существования и ориентации в ней, далеко не всегда обладая для человека – носителя этого ощущения возможностью себя явным образом обнаружить, охарактеризовать и определить.

Отсюда важное следствие, которое будет связано с пониманием данного языка как особой формы его проявления и бытования. Язык этот не прекращает своего существования вместе с изменившимся временем, как, скажем, то, что определяют понятием язык советской эпохи. С прекращением, уходом советской эпохи в прошлое ее язык, надо думать, уходит в прошлое вместе с ней, сменяясь другими формами-стадиями русского языка. Определяемый нами язык не прекращает быть вместе с изменившимся, точнее сказать, исчезнувшим, отошедшим в минувшее, узусом, как советский язык-новояз. Язык советской действительности, вызванный к жизни этой действительностью, условиями и ментальностью, ей порожденными, способен меняться, переходя во что-то другое, под действием новых условий, которые можно было бы определить как такие, которые изменяют характер, образ, ментальность и ощущение действительности, устранивая в них признаки, делавшие их советскими. А поскольку речь идет об изменении внутри человека тех ему свойственных ощущений, привычек, эмоций, интерпретаций, реакций, манифестаций, оценок и восприятий, закрепленных в его сознании в формах, структурах, образах и значениях языка, которые не поддаются контролю, часто не регулируются сознательно и не корректируются, язык советской действительности перестает таким быть не в связи с изменившимся временем или новыми узульными наукаами и не в связи с изменением социальных условий, а в связи со своими носителями. Человек, говорящий на языке, должен стать ментальным и речевым носителем не советского ощущения и восприятия действительности, а какого-то совершенно иного. Речь идет, говоря по-другому, о переориентации, переклассификации (но не перекодировании) внутренних, с помощью языка усваиваемых (и усвоенных никогда), в языке проявляемых ориентиров и появлении каких-то иных, прежнему состоянию не свойственных. Насколько это возможно и достижимо и в какой мере и для кого – вопрос не к лингвистике. Так же как не к лингвистике, по крайней мере не только к ней, видимо, сле-

дует отнести и вопрос о соотношении русской языковой, т.е. национальной, этнокультурной, и русской советской языковой, т.е. этносоциопсихологической по природе своей, ментальности. Возможно, поставив эту проблему в тот ряд (либо с ним соотнеся), который интересовал в свое время философов, историков, социологов, советологов, политологов. В какой мере, хотелось бы уточнить, не социализм, но мораль, психология, навыки, императив, «гуманизм» восторжествовавшего большевизма, в его отношении к обществу, человеку, действительности, природе свойственны (были свойственны?) русскому национальному ощущению и характеру, русскому отношению к жизни, вытекали и следовали из них, были связаны с ними? Что повлияло на их живучесть, привязчивость, прививаемость русскому национально-общественному организму? Объявляемые кровно-родственными, близкими, прямо следующими из русской ментальности либо, напротив, навязанными извне, внедренными силой, держащимися на страхе, привычке к покорности, внутренней обособленности от власти национального самосознания, эти соотношения сталкивали постановкой проблем идеологию (большевизм) с особенностями национальных привычек и предпочтений, не затрагивая две существенные, на наш взгляд, отличающие предлагаемую постановку вопроса, особенности. Во-первых, язык, а во-вторых, действительность, в их общем соединении, сплаве в носителе того и другого как целого – человеке.

Язык, в связи с этим, и это следовало бы подчеркнуть еще раз, не столько русский, как национальный и литературный, сколько русский язык определенного рода, определенного вида и типа действительности, свойственный и характерный ей, следующий из нее, порожденный ею, способный длиться и существовать поэтому вне ее, помимо и после нее, поскольку отображается, воплощается и существует в своем носителе (в своих носителях). Это первое. И второе, не менее важное для представления данного языка и всего последующего. Не идеология, не учение, не доктрина, мировоззрение как таковое, будь то превратно понятый и искаженный социализм, коммунизм, большевизм либо что-то еще, и не спускаемый сверху и одобряемый как единственно правильный способ оценок и восприятий, а с этим формулировок, идущий от пропаганды, лежат в основе его, этого языка, а то, что это и все остальное в себе перемешало, переварило и перекрутило – все остальное всей жизни, опыта, ощущения советской действительности. А это все далеко не только одно всем известное «одобрям-с», хотя бы и в широком смысле этого слова, т.е. как вольное или невольное, вынужденное принятие существующего, поскольку в противном случае не удавалось бы ему так массово существовать. И как принятие оно неизбежно там есть.

Это и не непринятие, с другой стороны, сопротивление, противление, неодобрение, нежелание, отторжение, неучастие, принимавшее формы иронии, горечи, неудовольствия, обличения, противодействия, хотя и оно там есть, но как нечто похожее, видимо, на отстраненность и самостийность. Это и не стояние в стороне, наблюдение издали, с желанием сохранить себя, не распасться и не втянуться в общее, куда-то катящееся, определяемое фразой «маразм крепчал (крепчает)», осознавая, что самому при этом, с другими всеми, не избежать маразма. Все это точнее можно было бы определить как общий советский контекст совместного существования, требовавший и предполагавший как выработку общих, совместных, знаний, мировоззренческих, социальных, психологических, политических, так и знаний того, как жить, и выжить, и, собственно, существовать, равно как и способов отношения, взаимодействия, достижения, обретения, а также защиты в этой и от этой действительности.

Укладывается сказанное, отчасти, а может, и полностью, в то, что принято в последние десятилетия в языкоznании определять как принцип антропоцентризма и понятие языковая картина мира, с тем уточнением, что речь должна идти о советской языковой картине мира в русском ее оформлении с точки зрения формальных и семантических средств. Затронутые вопросы об отношении, соотношении, близости, свойственности ее признаков и сторон русскому национальному сознанию и характеру, мере, видам и типологии сходств того и другого, равно как и русской языковой (наивной?) картине мира, о соотношении в ней идеологических, политических, мировоззренческих, новоязом навязываемых, внедряемых, намеренно советизирующих и ненамеренно в ней присутствующих советизированных признаков, равно как и кардинальный вопрос, языковая это картина мира или что-то другое и что в таком случае, – все это, а также другое, можно было бы начинать решать, как нам представляется, по мере ее (картины) выявления и описания, и именно в этой связи, не умозрительно и не на основе языкового и не только языкового чутья, а на основе признаков свойственной ей парадигматики и синтагматики, ее виртуального и актуального, плана ее оформления и плана ее содержания. То есть на основе определения ее системности и функциональности, но не так, как это делается для национального языка, с описанием его словаря и грамматики, а по-другому, в каком-то ином ключе, который, в связи с этим, необходимо определить и представить.

Таким подходом к ее изучению могло бы быть рассмотрение тех ее семантических и номинативных особенностей, которые проявляют характер ее отношения к действительности. Описание при этом должно было бы предполагать выявление системы, согласно устройству и

внутренним закономерностям которой она могла бы предположительно действовать. Выбор соотнесения с действительностью, имея отчасти условный характер (поскольку какой еще может быть?), предполагает скорее, и это требует уточнения, необходимость внутренней обращенности построения в продуцирующий, генерирующий, создаваемый характер описываемой номинативной системы. Продуцирующий по отношению к называемому, обозначающему внешнему, к объектам, действиям, признакам и, едва ли не в первую очередь, людям, организациям и коллективам. Позиция подобного рода следует из природы выбранного для описания явления. Присутствующее в сознании человека в виде закрепляемых и выражаемых с помощью языка как кода-носителя значений и форм устройство, о котором речь, служит в его сознании средством установления особого отношения к действительности. Отношения, способного, с одной стороны, порождать из себя, продуцировать, собственные, заложенные в устройстве и в необходимом ключе, оценки и ориентиры действительности, а с другой, допускающего возможность последующего их, такого же необходимого для того же интерпретирующего ключа, подключения.

Известное соотношение языка как кода, сознания человека как отражающего, воспринимающего и интерпретирующего носителя и действительности как отражаемого и обозначаемого с помощью языка, того внешнего по отношению к субъекту, знания о котором способны накапливаться и передаваться с помощью языка, – это соотношение модифицируется в том языке, о котором речь, т.е. в языке советской действительности и для него, в отношение **продуцирующее**. Язык советской действительности, как язык, скажем так, за неимением лучшего, социально-идеологической (единственно правильной идеологии, следует подчеркнуть) общности, в отличие от национального русского языка как языка этнической, этнокультурной общности, не просто и не только дает представление о действительности, позволяя, на основе знаний и опыта, своего и других, вырабатывать носителю, говорящему субъективное отношение к ней, он его, это отношение, в сознании носителя, говорящего намеренно производит. Отличие того и другого, следовательно, в том, что национальный язык, с помощью текстов, высказываний, своих значений и номинативных форм, классифицирующих мир парадигматических, категориальных средств, обеспечивает возможность выработки субъектом своего отношения к миру, хотя бы в какой-то мере и национально предопределенного, язык советской действительности не предоставляет такую возможность, не обеспечивает ее, а такое необходимое отношение в сознании человека не то чтобы воспроизводит, но продуцирует. Продуцирующий характер зало-

жен в нем таким образом, что может действовать и действует в двух направлениях – через включение, введение, сообщение извне и через способность преобразования и выработки внутри, через самовоспроизведение, продуцирование в себе, для себя, от себя, т.е. *интериориально*, самим субъектом. И то и другое, при этом, имеет характер дляящийся, организующийся, способный к развитию и пополнению, к последующим включениям, воздействиям, продуцированию, адаптациям. И, что необходимо заметить, в условиях существующих, созданных некогда фильтров и ориентиров и в том же, некогда заданном и практически неизменяемом, ключе.

Язык советской действительности, следовательно, играет роль ментального кода определенного рода опыта, определенной матрицы, выполняя ту функцию, которую выполняет в связанных единой традицией коллективах, передаваемое с помощью текстов и ритуалов, воспроизведенное в бытовой своей повседневности, коллективное знание. Закрытое для чужих, непонятное для непосвященных, но действующее императивом для них, а потому ими, без понимания и рефлексии, переживаемое, оно, это знание, и требуя, и не требуя своего объяснения и своей дешифровки, воспроизводит и продуцирует определенное отношение, определенный ключ восприятия действительности, в ее прошлом-будущем и настоящем. Находясь в поле регулярного воспроизведения-действия этого знания, которое вовсе не обязательно, а в основном даже и не предполагается, знать-понимать, человек, проникаясь им, заряжается определенным образом. Как представитель данного коллектива, как действующий специфическим образом и таким же каким-то образом мыслящий, воспринимающий окружающее, реагирующий и регулирующийся субъект. Сам себя регулирующий и регулируемый общим либо направленным на него непосредственно полем действия, к которому определение знание может быть отнесено лишь отчасти, поскольку это лишь часть, когнитивная составляющая, общего опыта и повседневного коллективного бытия. Бытия себя повторяющего, воспроизводящего и продуцирующего, действующего на сознание субъектов-носителей всем своим целостно организуемым и целостно действующим существом. В этом смысле того продуцирования, о котором шла речь в связи с языком советской действительности.

Интересующий нас объект, таким образом, можно было бы определить, с учетом его природы, как в отношении русского, национального и литературного, языка, так и в отношении русского языка советского времени (советской эпохи) и узульской его проекции – языка пропаганды и официоза (т.е. новояза), из чего будут следовать важные методологические предпо-

сылки. Те предпосылки, которые позволяют установить характер и принципы аналитического отношения к нему как языковому, но не исключительно языковому по природе своей, объекту, что и будет предполагать не сугубо языковые приемы подхода к его описанию. Язык советской действительности, в связи со сказанным, можно было бы определить как передаваемую и воплощаемую с помощью языка, направленно ориентированную, парадигмосистему продуцирующегося в себе знания-опыта коллективного бытия, в продуцируемой данной общностью и ею поэтому, но не только поэтому, а зависимо и обусловленно, переживаемой, проживаемой и на себе, в ее действиях и последствиях, ощущаемой действительности.

Русский, национальный и литературный, язык в отношении языка советской действительности выполняет роль почвы, источника и оформителя языкового материала. Язык советской действительности, в известном и неизбежном смысле, это тот же русский, литературный в основе своей, язык, только в еще одном парадигмо-функциональном приспособлении и проявлении. Русский язык советского времени, или советской эпохи, вполне обоснованно определяемый как очередная по времени стадия развития и становления русского, литературного и национального, языка (оценки и комментарии данного положения, как бы к советскому времени ни относится, не отменяют языкового его существа), этот язык, в связи с этим, можно было бы определять точно так же – как почву и как источник, но актуальные и непосредственно взаимодействующие, в общем общественном времени связанные, а потому обусловливающие не только словарно-системный, но и узально-функциональный, актуализируемый характер взаимодействия.

Русский язык советского времени, в отличие от рассматриваемого нами языка советской действительности, также русского языка, будучи связан с общественным временем, не заряжен и ни в каком таком специфическом отношении не определен. Он уходит вместе со временем, заменяясь на язык пришедшей на смену эпохи. Меняются средства и формы, лексический, фразеологический, синтаксический, стилистический материал. При этом какая-то часть, не заряженная пересчур специфически и хорошо усвоенная, остается, наследуется последующей стадией развития языка. Язык советской эпохи отражает в себе (было бы странно, если бы не отражал), включает, вводит, перерабатывает и обрабатывает, советскому времени свойственный, для него характерный, типичный, но не обязательно только советизированный, со знаком советской, материала. Представляя собой, по верному наблюдению С. И. Карцевского (1923), впрочем, равно как других исследователей, его изучавших (можно было бы назвать А. М. Селищева, Г. О. Виноку-

ра и др.), расширение и освоение в языке существующих средств, потенциальных либо до этого, может быть, так широко не использованных, ограниченных, не задействованных активно [Карцевский 2000: 224]. Русский язык советского времени так напрямую не связан с носителями, как язык советской действительности, в отношении их какого-то определенного, предопределенного, в том числе и ментального, типа. Не надо быть ни советским, ни не советским, ни антисоветским, чтобы им пользоваться и на нем говорить. Что-то могло в нем не нравиться, что-то старался кто-нибудь в современном ему языке, слишком явное и разящее, избегать, в своей речи не употреблять, как-то там обходиться другими словами, слишком уж посоветски не говорить. Советскость его обуславливала характер и выбор включаемого и осваиваемого материала, свойственного данному обществу и данной эпохе. Подобное отношение у носителя всякого языка может быть к своему языку ему современной либо какой-то иной эпохи, советский характер, будучи по своему существу подчеркнуто унитарным и навязчиво прокламируемым, в известном смысле навязываемым, придавал ему, этому отношению, неизбежную остроту.

Следующая из сказанного еще одна отличающаяся черта языка советской действительности от языка советского времени, применительно к разбираемому вопросу, состояла бы, таким образом, в том, что по числу и составу своих носителей, говорящих на нем, язык советского времени не был в советское время в каком-нибудь отношении определен. В то время как язык советской действительности требует такого предопределения. Число и состав на нем говорящих, определяясь типом ментального отношения к действительности, должно было быть ограниченным и меньшим по сравнению с языком советской эпохи. Одновременно с этим, в другую, последующую эпоху язык советского времени постепенно, но неизменно уходит в типично советском своем материале в пассив, в то время как язык советской действительности, связанный со своими носителями, не уходит так явно и очевидно, оставаясь, следами и отпечатками, и при этом не только лексемной, фразеологической, а потому легко узнаваемой, стороной, продолжая в употреблениях, в узусе существовать, ощущаться и жить. Что и как от этого в этих процессах живого употребления себя оставляет и проявляет, давая чувствовать, – на этот вопрос нелегко ответить сколько-нибудь определенно и полно без достаточных к тому оснований, т.е. без представления материала в виде системы для него характерных, его отличающих значений и форм.

Язык пропаганды и официоза (советский язык-новояз) можно было бы определять как одну из форм функционального, речевого, письменного и устного, проявления русского

литературного языка как языка советской эпохи. По отношению к языку советской действительности эта форма ведет себя как воздействующая, какой-то частью своей входящая, какой-то влияющая, но ограниченно, выборочно (с точки зрения языка советской действительности), как форма искусственная, сознательно формируемая, создаваемая и не имеющая носителей, на ней как таковой говорящих.

Наиболее полной, включающей и не заряженной, не сугубо идеологизированной, формой, тем самым, следовало бы, в контексте сказанного, признать язык советского времени. По отношению к нему язык-новояз представлял бы собой искусственно формируемую узуально-функциональную часть, а язык советской действительности – совпадающую по времени и развивающуюся, формирующуюся одновременно, однако не часть, а проекцию, непосредственно связанную с советской ментальностью, языковой советской картиной мира и с наделенными этой ментальностью и соответствующими представлениями о мире носителями, кругом своих говорящих.

С точки зрения языкового материала, в наблюдаемом и явном своем проявлении – лексического и фразеологического, язык советской эпохи, советский язык-новояз и язык советской действительности в какой-то части имели бы общий состав единиц (язык эпохи и язык действительности в первую очередь). Общий состав в отношении вида и формы, но далеко не всегда это были те же самые их значения, контексты, конструкции, формы употребления. Смысловое и функциональное отличие этих внешне, по форме своей, совпадающих единиц (насколько их стоит определять как тождественные себе, вопрос не такой простой, как может на первый взгляд показаться), это отличие следовало бы из природы, т.е. парадигматики и синтагматики каждого из трех проявлений «советского» языка. Попробуем показать это, неполно и приблизительно, на каком-то примере (трактовка при этом, без представления целого, может быть далеко не единственной).

Стахановец как лексему языка советского времени можно было бы определить примерно следующим образом: передовой рабочий-ударник, работающий с превышением существующих производственных норм.

Как лексему языка пропаганды – тот, кто самоотверженно и бескорыстно, во имя общего блага, отдавая всего себя, трудится на производстве, являясь примером настоящего советского отношения к работе и обществу, значительно перевыполняя обычные нормы.

И, наконец, как лексему языка советской действительности: тот, кто своим выделяющимся на фоне других отношением, работая с превышением существующих производственных норм, способствует укреплению советского строя, возможности проведения политики госу-

дарства и партии в массы, являясь пропагандистским примером для подражания.

Небезынтересно в указанном отношении было бы сопоставить определения, даваемые слову по словарям. Возьмем для этого дефиниции из словаря под ред. Д. Н. Ушакова (ТСУ, 1940 г.), Словаря русского языка в 4-х томах (МАС, 1984 г.), Большого толкового словаря, гл. ред. С. А. Кузнецова (БТС, 2000 г.).

Стахановец, вца, м. (нов.). Работник социалистической эпохи, к-рый в социалистическом соревновании добивается наивысшей производительности труда, наилучшего использования техники и превышения производственных планов путем преодоления старых технических норм и существующих проектных мощностей. ...*Стахановцы являются новаторами в нашей промышленности...* Сталин. *Стахановцы тяжелой промышленности. Стахановцы социалистических полей.* [По имени Алексея Стаханова, забойщика шахты «Центральная – Ирмино» в Донбассе, начавшего в 1935 году борьбу за высокие показатели социалистического труда.] (ТСУ)

Стахановец, -вца, м. Передовой рабочий, творчески овладевший средствами новой техники и достигающий в социалистическом соревновании значительного превышения норм выработки (название, распространенное в Советском Союзе в 30-40 гг.). *Стахановцы наглядно показывают нам, что любой человек может быть артистом в своем деле.* М. Горький, О новом человеке. [По имени донецкого шахтера А. Стаханова] (МАС)

Стахановец, -вца, м. 1. Передовик, много и плодотворно работающий человек, превышающий обычные нормы выработки (было распространено в СССР в 30-70-е гг.; по имени донецкого шахтера А. Стаханова). Он у нас настоящий с. 2. Ирон. О человеке, работающем с целью, чтобы его заметили. *Стахановцем хочешь быть? Эй, с., кончай работу!* (БТС)

Сравнение первых двух, дефиниций советского времени, в его начале, в связи с появлением слова (1940 г.), и в конце (1984 г.) дает представление прежде всего о временной перспективе. Воздействующий, воспитательно-дидактический, характер лексемы заметен в обоих случаях. В ТСУ основное внимание уделяется идее нового, характерного для советской эпохи, социалистического отношения к труду как соревнованию, предполагающему необходимость стремления к максимально возможному (и невозможному, но не для советского человека *implicite*), преодолевая существующие *старые* технические нормы и мощности (наследуемые от не советских спецов!). Раскрывается смысл триады желаемого достижения (с использованием суперлативов) – наивысшая производительность труда, наилучшее использование техники, превышение производственных планов. Определение имеет, тем са-

мым, характер вводящий, нацеливающий (заряжающий, мобилизующий) и разъясняющий. Смысл явления, характерного исключительно для новой, советской, эпохи, и такого же нового, социалистического, отношения к труду, имеет целью служить примером и руководством к действию. Приводимые иллюстрации подчеркивают идею новаторства, связываясь с задачами индустриализации, подсказывая необходимость новаторского подхода и применения новых методов с превышением существующих норм не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Подробно, с ближайшей смысловой перспективы, дается фигура инициатора, фамилия которого послужила мотивирующей основой слова. МАС, в контексте иных идейных задач, обращает внимание на передовой и творческий характер подхода к средствам новой техники, оставляя актуальность социалистического соревнования и необходимость значительного превышения норм, но ограничивая описываемый пример такого подхода сферой промышленности (словами *рабочий, выработка в определении*) и временем (в 30-40 гг.). Толкование в результате приобретает характер обобщенного позитивного опыта – некогда было так-то и так-то, и из этого стоит извлечь для себя актуальные представления и выводы, приспособив их и переосмыслив для современных задач. В отличие от дефиниции в ТСУ, определение слова в МАС в его действующей направленности можно было бы охарактеризовать как обобщающее и прагматическое.

БТС устраняет из определения советскую идеологическую направленность, оставляя, однако, идею советского позитива (неотъемлемо свойственного данному слову) – *передовик, переводя его в обобщенное представление человека, много и плодотворно работающего*, но не минуя при этом советской привязанности – *превышающий обычные нормы выработки*. Время распространения слова, по сравнению с МАС, получает, на первый взгляд неожиданное, расширение – 30-70-е гг. Меняется перспектива, теперь постсоветского, восприятия слова, и раздвигаются неизбежно границы того представления, которое связывается с его использованием. В этом, видимо, состоит некий весьма интересный феномен. В 70-80-е гг. *стахановец* воспринимается как историзм, советского времени 30-40 гг., когда это слово и связанное с ним явление возникли, были вызваны к жизни, активны и актуальны и, что не случайно, имели, по-видимому, иной, более узкий и приближенный к представляемой пропагандой действительности характер и смысл. В 90-е и последующие за ними годы *стахановец* также воспринимается как историзм, но советского времени как такового, без отнесения только к началу (в 30-40-х гг.). Поэтому не в активной и актуальной, а в обобщенной и соответствующим образом позитивно заряженной семанти-

ческой форме, типично советского (чтобы не сказать пропагандистского) позитива, на почве которого возникает значение ироническое, определяемое как второе – о человеке, работающем с целью, чтобы его заметили. Можно было бы с известной долей предположения сказать, что *стахановец* 30-40-х и *стахановец* 80-х гг., с точки зрения, но не языка советской эпохи, а языка советской действительности, не одно и то же. В последующие за 80-ми годы слово воспринимается в этом последующем, а не первоначальном своем значении.

Попробуем данное положение объяснить. Поможет в этом, как это ни странно, может быть, прозвучит, определяемое нами ранее третье – советский язык-новояз, язык советского официоза и пропаганды, своими воздействующими, эксплицитными и имплицитными, сторонами присутствующий, далеко не всегда и только навязчиво себя проявляющий, но в желаемом направлении, когда он есть, заряжающий определение семантики слова. Язык этот (визуальная форма языка советской эпохи) устанавливает, каждый раз актуализируемый, привязываемый к актуальному времени, характер соотношения языка советского эпохи (описываемого, как правило, по словарям советского времени) к продуцируемой, а потому и меняющейся в задаваемом представлении, советской действительности. Продуцируемое им (хотя далеко не обязательно только им, этим языком, но им в соответствующем направлении, а потому и наиболее явно и полно, определяемое), продуцируемое им или только им отображаемое представление, образ советской действительности 30-40-х и 70-80-х гг. был, естественно, разным. Для него это было пропагандистское представление и пропагандистский образ, существовавшие наряду с другими, в словарях советского времени также отображаемыми. Однако, поскольку мы связаны условиями разбираемого слова, ориентирующее системоцентристское присутствие языка пропаганды в нем, несомненно, есть.

В контексте сказанного *стахановец* 30-40-х годов предстает как тот, кто является собой образец воплощения в человеке нового, социалистического, отношения к труду. Не как к вынужденной условиями существования необходимости, как это было раньше (материальное обеспечение, обогащение, реализация жизненных планов, удовлетворение личных амбиций и пр.), а как к средству наиболее полного и скорейшего достижения обществом поставленных перед ним задач преобразования (продуцирования советской) действительности (определенное как социалистическое строительство). В связи с чем такой человек, работающий на производстве, должен и будет стремиться к тому, чтобы максимально производительно и с полной отдачей использовать собственные физические, умственные, профессиональные (новаторство)

ресурсы, равно как и объективные, внешние – технику, нормативы, выжимая из них все возможное и невозможное (для большевиков невозможного нет) во имя скорейшего достижения поставленных партией и государством задач. *Стахановец* этого времени, тем самым, в себе проявляет идею внутренней свойственности, продолжения, отображения в человеческом материале советской, устанавливаемой как общее социальное дело, в его поступательном, продукцируемом развитии, системы, в контексте ее укрепления, обеспечения в смысле постоянно наращиваемого, увеличивающегося, нормы числа производства (по принципу $n + 1$, где n представляет число, каждый раз на какую-то единицу растущее). В отношении к производимой советской действительности, к ее производированию, *стахановец* этого времени, следовательно, оказывается в его актуальном центре (времени советской действительности 30-40-х гг.), семантически отображая ведущую формулу отношения пропаганды (явно – в ее интенциональной, не слишком явно – в прокламационной части) к человеку как средству и материалу поставленных обществу производственных, значительно превышающих его ресурсы и силы, заданий.

Стахановец 70-80-х гг. предстает по-другому. Актуальность отличающего его от прежнего отношения к работе снимается. Снимается также, утрачивая свою прежнюю значимость, идея преобразующего и постоянно наращиваемого усилия в отношении достижения желанного образа советской действительности (социалистическое строительство, человек для которого – средство и материал). Остается поощряемый, одобряемый, положительный образ-типаж передового, ответственного, творчески подходящего к поручаемому делу советского человека, участника производства, благодаря умению, профессиональным навыкам и труду которого производственный коллектив достигает в социалистическом соревновании значительных показателей. Системоценностное мобилизующее напряжение *стахановца* 30-40-х гг. из императива и образца для настойчиво прокламируемого подражания переходит в плоскость этического и личностного, не столько необходимого для строительства социализма, как раньше, сколько желательного, связанного с внутренними возможностями и выбором, а потому образца, в известной мере высокого и исключительного, не для всех и далеко не всегда потому достижимого. *Стахановец* времени 70-80-х гг. отображает идею отмеченной знаковости, приобретая признаки символичного, а потому обобщенного и отвлеченного, не в полной мере реального воплощения. На основе чего развивается отношение отстраненности и сомнительности, которое, вступая в единение с эмпирическим знанием действительности советского производства, приводит к

представлению о вполне допустимой и вероятной фальши, неискренности внутренних побуждений, о демонстративности такого субъекта, желании привлечь к себе, своей работе внимание начальства и получить таким образом от него поощрение (2-е значение БТС).

Общим, объединяющим смыслом того и другого значения было бы, таким образом, представление об исключительности, выделенности данного человека на фоне других. *Стахановец*, прежде всего, привлекает к себе внимание – начальства, коллег, своим исключительным, повышенно-энергетическим отношением к производимой работе, предполагающим выжимание из себя и всего, в производстве используемого, до последней возможности ради реализации каких-то собственных, возможно небескорыстных, но в каждом случае демонстративных, затей. И именно тут возникают различия и характерные, по-видимому, для позднего восприятия значения слова, сомнения. Ради чего им это делается, какова подоплека подобного поведения?

В 30-40-е годы, определяясь как бескорыстное, характерное для новой, советской эпохи, такое его отношение к работе мотивировалось и пропагандировалось как вызванное порывом, энтузиазмом ударников очередных пятилеток, стремлением больше работать, с тем чтобы больше производить. Страна, в представлении средств пропаганды, во многом также и в массовом восприятии, была на подъеме, в невиданном по внутренней силе и мощи рывке.

В 70-80-е годы идея мобилизующегося на скорейшее строительство социализма, как желаемой и достижимой цели, энтузиазма подъема ударников не проходила. Ударничество, в условиях развитого социализма, по объективным и по субъективным причинам, должно было получить какое-то новое объяснение. Творческого, не рутинного отношения к своему труду, результатом, возможно отчасти и целью, которого было бы достижение коллективом, в котором такой ударник работает, т.е. своим для него коллективом, значительных показателей, лучших и больших по сравнению и на фоне других (социалистическое соревнование). И, что из этого следовало, для него, своего коллектива, определенных выгод и поощрений, премий, наград, благодарностей, благосклонного отношения со стороны партийно-советского руководства, что определялось понятием *быть на хорошем счету у начальства*, со всем из этого вытекающим. В условиях общего кризиса колlettivизма и разлагающего влияния (в представлении средств пропаганды) индивидуалистской морали (чему отчасти и противопоставлялось как средство преодоления извлекавшаяся из фанфарного времени первых социалистических пятилеток идея ударничества, с чем связывается упор на этическую ее составляющую) подобное представление должно бы-

ло порождать и, естественно, порождало не только коллективистскую (значение в МАС и 1-е в БТС), идущую от пропаганды, но и индивидуалистскую форму интерпретации (2-е значение в БТС), существовавшее, но не отражавшееся в словарях советского времени.

Значения слова 30-40-х и 70-80-х годов, таким образом, можно было бы представлять как разные, вводимые, переводимые, акцентируемые, грани чего-то общего, какого-то общего представления, заложенного в семантике, трудно сказать чего – желаемого отношения человека к своей производственной деятельности, как агента-производителя и продукта одновременно советской действительности, не в реальном ее, а представляющем, опосредуемом средствами интерпретации (не только и не исключительно пропаганды), виде. Агентно-продуктное это отношение к продуцируемому представлению действительности в *стахановце* выражалось бы как такое, которое предполагает причастность, внутреннюю свойственность его (как агента силы и одновременного, движущего, ее результата) этой самой действительности, процессу ее продуцирования, по показателям, семантическим признакам нарушения, количественного роста, увеличения массы числа, превышающего обычное среднее, норму. Значение это можно было бы воспринимать как значение того «языка», который определялся нами как язык советской действительности.

Язык советского времени имеет свою позицию в подобным образом представляемой семантике. Человек, поскольку объектом описания в данном случае является он, определяется в отношении к обществу и ко времени – советскому обществу и советскому времени, соответственно. Определяясь как представитель советского общества и советского времени, *стахановец* был бы тем, кто в условиях, порождаемых временем, применял особенные, превышающие обычные формы и методы производства, демонстрируя этим необходимость не стандартного отношения к процессу и результатам труда.

Значения советского языка пропаганды поворачивали бы, акцентировали в каких-то своих частях совпадающий, пересекающийся и общий смысл в ту сторону, которая тяготеет к представлениям *ударник* и *передовик*, т.е. идеино, морально и производственно лучший, максимально использующий имеющиеся возможности, показывающий пример, мобилизующий остальных, ведущий их за собой к достижению общей цели. Акцентировались, подчеркивались, эксплуатировались бы признаки, связанные а) с идеино-коммунистической сознательностью (бескорыстие, преданность делу, ради общего блага и достижения цели, не ради себя); б) с максимальностью наилучшего из возможного, наивысшей степени, оптимального проявления; в) образцностью мобилизующей

силы примера, способного своим действием на массы, на окружение заражать, заряжать, поднимать и г) с устремленностью к цели (скорейшее построение социализма в СССР). И ср.: агент-продукт причастного отношения к советской действительности по показателю растущего увеличения производимой им массы-числа. Или – производитель, по собственным либо не собственным, вызванным социальным временем (политическим временем), побуждениям и причинам, демонстрирующий большее, чем среднее и необходимое, достижение своих производственных результатов. Характерные то и другое для языка советской действительности и языка советской эпохи.

Рассматриваемые три формы советского русского языка, таким образом, имеют свои позиции, свои акценты и повороты в интерпретации и мотивации включаемых, осваиваемых, перерабатываемых или вновь вводимых и создаваемых, лексических форм и значений. Условно, поскольку крупно и обобщенно, эти позиции можно было бы охарактеризовать как опытно-ментальную – носителя советского опыта и советской ментальности, в отношении языка советской действительности; как социально- temporальную – в отношении к общественному времени и состоянию советской действительности, для языка советской эпохи и как когнитивно-воздействующую – для языка официоза и пропаганды.

Вполне естественно, что для советского времени и языка периода актуального существования советской действительности, в условиях регулярного, не сходящего с экранов, страниц газет и других источников информации, неизменно звучащего и видимого повсюду, действия и воздействия официоза, различие и разграничение в единицах семантики, тем более в случае формально единых и общих, признаков, организующих комбинаций каждого из трех языков, – такое разграничение в советское время было бы, как представляется, и затруднительным и малорезультативным. Необходимость и важность, поучительность (можно было сказать), равно как и более вероятная осуществимость такого разграничения появляется, видимо, после, т.е. во времени последействия и послевоздействия. Когда язык советского официоза и пропаганды неизбежно уходит со сцены, переставая активно воздействовать и влиять, язык советского времени перемещает что-то в себе значительное в пассив, преобразуясь в какой-то новый, другой язык, язык последующей, наступившей эпохи. И когда, наконец, язык советской действительности также что-то начинает в себе менять, как-то преобразовываться и переходить (а может, и нет), приобретая какие-то новые, очередные формы. Сказать, какие формы он начинает приобретать, во что превращаться, и уходить ли, и на-

сколько и в чем, если все-таки уходить, – на эти вопросы можно было бы более или менее определенно ответить, после того как его, язык этот, обстоятельно изучить, представив в его специфике и вероятном отличии от двух других, несомнительно уходящих, советского состояния действительности и советского времени, языков.

Определения словарей, далеко не случайно поэтому, но часто вслед за ощущением меняющегося состояния времени и проживаемой советской действительности, а также под действием воздействующего и вездесущего официоза, представляют значения интересующих нас лексем (впрочем, не только их) в смешении, соединении и различных по своему образу и характеру соотношениях признаков всех трех форм советского языка, хотя, при этом, и на какой-то общей, объединяющей их основе. Тенденция, действующая по своей неизменной инерции и в лексикографической практике последующего периода.

Если еще раз сравнить приведенные ранее определения из трех словарей (см. последующие абзацы в квадратных скобках), можно заметить следующее. В ТСУ от языка пропаганды-официоза эксплицитно представлен признак максимальности наилучшего (три других – сознательность, образцовость, цель – присутствуют как имплицитные). От языка советской действительности – признак причастности отношения (два раза слово *социалистический* и *соревнование*), агента-продукта (*работник эпохи*) и в меньшей, не акцентируемой степени признак растущего увеличения производимой массы-числа (во второй части определения). От языка советского времени – признак производителя социального времени (причины и побуждения не акцентированы, имплицитны либо опущены), признак демонстрирования (но не демонстративности) – добивается, наивысшей, наилучшего, превышения – и признак большего, чем среднее, достижения. Две последних формы, по-разному сочетаясь в своих характерных признаках, таким образом, почти полностью находят свое отражение в определении ТСУ. Признаки языка пропаганды подчеркнуто, акцентированно представлены только одним, остальные воспринимаются как неявно присутствующие, т.е. имплицитные.

[ТСУ: Работник социалистической эпохи, к-рый в социалистическом соревновании добивается наивысшей производительности труда, наилучшего использования техники и превышения производственных планов путем преодоления старых технических норм и существующих проектных мощностей.]

В определении МАС от языка пропаганды имплицитно использован только признак идейной сознательности, следующий из восприятия слов (фон социальных знаний) *передовой* (в отношении к *рабочий*), *творчески овладевший*;

три других – максимальность наилучшего, образцовость мобилизующей силы примера, устремленность к цели – практически в нем не задействованы. От языка советской действительности можно заметить причастность (*в социалистическом соревновании*, овладение *средствами новой техники*) и увеличение производимого (но не растущего – достижение *значительного превышение норм выработки*). От языка советского времени – производитель (*рабочий, выработка*), предполагаемые побуждения и причины, следующие из социальных знаний (снова *передовой*), социальная (политическая) актуальность времени (*творчески овладеть средствами новой техники*), демонстрирование (*достижающий, значительного*) и большее, чем среднее, достижение результатов (*превышения норм*). Определение МАС, таким образом, в большей мере, чем ТСУ, тяготеет к признакам языка советского времени, чем советской действительности, и еще в меньшей степени отображают язык пропаганды.

[МАС: Передовой рабочий, творчески овладевший средствами новой техники и достигающий в социалистическом соревновании значительного превышения норм выработки.]

В определении БТС идея сознательности и образцовости (из языка пропаганды) может быть связана только со словом *передовик*, неизменно в себе содержащим советские коннотации. В контексте уже не советского восприятия слово это может быть также привязано к проявлению признаков причастного (теперь никогда) отношения к советской действительности либо вызванных социальным (политическим) временем побуждений-причин (не следует забывать, что толкуется слово советского языка, советизм, и это подчеркивается – в СССР в 30-70-е гг.). Остальное в определении (за исключением лишенных советской *много и плодотворно работающий человек*), с учетом 2-го значения, представляется более обоснованным связать скорее с признаками языка советского времени, чем языка советской действительности, определив их в отношении (опять же *передовик, превышать, обычные нормы выработки*) демонстративности, большего, чем среднее и необходимое, достижение производственных результатов. Из чего следует, что БТС отражает в представленном определении признаки языка советского времени, а из этого, только как неизбежное проявление-следствие, некоторые типичные, наиболее важные признаки языка советской действительности и языка пропаганды, сочетающиеся у них с языком советского времени, совмещающиеся в общих, используемых в определении, словах.

[БТС: 1. Передовик, много и плодотворно работающий человек, превышающий обычные нормы выработки 2. Ирон. О человеке, работающем с целью, чтобы его заметили.]

Показательно, что в других, постсоветского времени, словарях можно увидеть такое же предпочтение. Лексема *стахановец* определяется в них скорее как единица языка советской эпохи, чем языка советской действительности, что вполне объяснимо и не случайно. «Новый словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой дает такое определение: **стахановец** м. 1. Тот, кто добился высокой производительности труда (в СССР в 30-40-х годах). Задействуются признаки производителя и большего, чем среднее, достижение результатов. Всё остальное либо отсутствует, либо может быть выведено как имплицитное, на основе советского знания о труде, отношении к труду, идее высокой производительности. «Толковый словарь языка Совдепии» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной, намеренно обращенный к советскому представлению, определяет *стахановца* словами 'передовой рабочий, ударник', в которых можно увидеть признаки, сближающие его с определением в МАС: производитель (рабочий), предполагаемые побуждения и причины (передовой), в контексте постсоветского восприятия – демонстративность (ударник). В последнем слове возможно также определение идеи сознательности, максимальности, образцовости, причастного отношения, следующих из социальных знаний, однако, как представляется, все же на фоне и в соединении с признаками языка советской эпохи.

Интересно отображение слова *стахановец* в сленговом употреблении конца советского и уже не советского времени, дающее представление о признаках, закрепленных в его значении как остающиеся (отстоявшиеся), и потому существенные, если не основные, вершинные, для восприятия. Сошлемся на материалы 1980-1990-х гг. «Словаря русского арго» В. С. Елистратова: **Стаханов**, -а, **стахановец**, -вца, м. (или **горбатый** ~). Активный человек, ведущий большую работу; энтузиаст. *Что я тебе, горбатый стахановец, что ли, в магазин переть! Вот и работай, если Стаханов.* Данное определение в его составляющих, едва ли не полностью, можно было бы отнести к группе признаков языка советского времени: производитель (отсюда *активный*), демонстрирующий, проявляющий большее, чем у других (*активный, большую работу*), достижение (рвение), выделяющийся этим на фоне других, по сравнению с ними (*энтузиаст*). Ведущий для данного слова признак языка советской действительности – причастное отношение к ней, равно как и показатель растущего увеличения производимого, оказываются нейтрализованными. Признаки языка пропаганды (сознательность, преданность делу, максимальность, образцovость примера – *активный, большая работа, энтузиаст*) воспринимаются как перевернутое их переосмысление, в издёвке, иронии, и на

основе прежнего знания, отстраненного в социальном времени, особенностей этого языка.

Слова словарных определений, используемые для описания значений, как можно было заметить по ходу нашего рассуждения, могут быть отнесены, а тем самым, и содергать в себе признаки, в равной степени как языка советского времени, так и языка советской действительности или языка пропаганды. И это естественно, поскольку толкуемые ими слова также могут быть единицами одного, другого и третьего. Одновременно трех, при этом каких-то двух или какого-то одного в предпочтительной степени, двух каких-то из трех, и также не обязательно равным образом, предпочтительно одного из трех либо, в конечном счете, ни одного, что будет предполагать, что данное слово не обладает признаками, делающими его советским. Поскольку слова толкования слов по существу такие же, как и определяемые ими, лексические единицы, воспринимаемые и нередко используемые из общего фонда советизированного русского языка, языка советского времени, они обладают общими, объединяющими их с толкуемыми, смысловыми, ассоциативными и коннотативными характеристиками. Для различия трех, наделенных советскойностью, языков поэтому, равно как и для представления отнесенности слова (набора, списка слов) к одному из них, к двум или ко всем трем, потребуется такой анализ и такая его процедура, которые, как в принятых для семантических языков описания правилах [Жолковский, Леонтьева, Мартемьянов 1961; Мартемьянов 1964; Апресян 1966; 1969; Жолковский, Мельчук 1969; Мартынов 1977], предполагают воспринимать используемые при определении слова как семантические маркеры, показатели, признаки, кванты смысла, а не как слова, т.е. лексические единицы нормального языка. Набор таких маркеров смысла при этом должен быть ограничен, четко охарактеризован, вписан в систему соотношений и показан в своем дефинитивном действии. Иными словами, предполагать разработку парадигматики и синтагматики описываемой предметно-понятийной области как систему и как процедуру в их порождающем и объясняющем проявлении. Однако прежде чем перейти к представлению подобной системы и процедуры, целью которой было бы описание языка советской действительности как вербализируемого, т.е. передаваемого словами, способа восприятия мира и человека, стоило бы коснуться еще одной важной проблемы. Решать ее в более или менее полном объеме и даже наметить достаточно основательно невозможно в рамках статьи, к тому же такое решение видится как перспектива, себя открывающая после определения видимых контуров предполагаемой системы, однако поставить проблему, о ней заявить, следовало бы уже в самом начале. Речь идет о границах, объеме, видах и типах

советскости в языке, советского заряжения, индуктирования единиц языка и, как следствие, самого языка.

Попробуем показать отдельные стороны этой проблемы еще на одном примере. Возьмем для этого слово иного рода, не воспринимаемое как слово советского языка, не определяемое как советизм, внешне с советскостью вроде никак не связанное, но между тем появившееся, возникшее и получившее широкое распространение в советское время. В определенный период советского времени бывшее воплощением советского позитива – человека мужественного и устремленного, уверенного в себе, в своих силах, надежного, крепкого, твердого, героя, романтика, труженика и открывателя, покорителя и опору страны, обеспечение ее оборонной и народнохозяйственной мощи. Речь идет об отважном советском покорителе воздуха и надежных крыльях Родины, иными словами, о *летчике*.

На примере этого слова как раз и можно будет увидеть и показать интересующее нас отличие слова и того, кого или что оно означает. Слово *летчик* не советизм, в том числе и не семантический советизм типа *болтун*, *беседа*, *вожак*, *пионер*⁴, т.е. вряд ли та единица, которую можно было бы определять как лексему языка советской действительности, языка советской эпохи или языка пропаганды. Другое дело, что и как она в языке советского времени обозначает, с чем, с какими сторонами советского восприятия, в интересующем нас случае советского позитива, связана, какие, определяющие для него значения, признаки, стороны выражает, способна передавать. Иными словами, здесь мы подходим к тому, что семантика советского представления о мире, советское продуцирующее отношение к действительности, равно как и созданное (создаваемое, продуцирующее себя) представление действительности, субъективный и массовый образ ее, в своем устройстве и своих механизмах, существует как нечто само в себе, в словах языка себя воплощая и отображая, заряжая собою слова, подчиняя их и затем, как следствие, подчиняясь им, организуясь и утверждаясь ими. Процесс, тем самым, осуществляется в обе стороны – от желаемого представления действительности к языку и от языка к представлению действительности. Причем таким, видимо, образом, что организация, заряжение и обустройство того и другого происходят по принципу взаимного уточнения и дополнения, сообщающимся и взаимно перетекающим, одновремен-

ным образом. Природу и философский смысл семантического насыщения и оформления единиц сознания и единиц языка оставим, однако, без дальнейшего в них погружения. Этим их соотношением важно было лишь подчеркнуть их внутренне обособленный и одновременно взаимно зависимый, сополагаемый и дополняющий друг друга характер. Для того, чтобы можно было исследовать и описывать семантику языка советской действительности, не искашая способности видения и адекватности выявления единиц и свойств интересующего объекта, по крайней мере на первом этапе, явлениями и законами собственно языка, законами единиц его лексического наполнения, развития и состава.

Толковые словари как советского, так и постсоветского времени не содержат в своих дефинициях никаких указаний, которые могли бы давать возможность предположить хоть какую-нибудь идеологическую нагруженность семантики разбираемого слова. Отдельные признаки ее можно почувствовать, при условии знания ассоциативного и социального фонов, лишь в иллюстрациях. *Лётчик*, а, м. (авиац.). Лицо, самостоятельно совершающее полеты на аэроплане и управляющее им. *Школа летчиков*. (ТСУ) *Лётчик*, -а, м. Водитель самолета. *Военный летчик*. *Морской летчик*. *Летчик-испытатель*. ◊ *Летчик должен знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы так же, как хороший моряк знает свойства воды*. Каверин, Два капитана. (МАС) *Лётчик*, -а; м. Специалист, умеющий управлять каким-л. летательным аппаратом (обычно самолётом, вертолётом). *Военный л.* *Лётчик-испытатель*. *Л. поднял в воздух самолёт*. *Опытный л.* Учиться на *лётчика*. (БТС)

Динамика развития представления о *летчике*, отраженная в трех различных по времени словарях, связывается со степенью социального освоения в сознании говорящих авиации, авиаторов и пилотируемых ими машин. ТСУ обращает внимание на признаки самостоятельности совершаемых летчиком действий и управлении аппаратом, определяемым словом *аэроплан*. МАС определяет слово через *вождение*, т.е. профессиональные действия того, кто находится в *самолете*. БТС – с точки зрения носителя, обладателя профессиональных умений и навыков (специалист, умеющий управлять), распространяя их на любой летательный аппарат, не только аэроплан-самолет, как отмечалось раньше. Социальное время, тем самым, нашло свое отражение в последовательном уточнении 1) от представления о том, кто совершает определенного рода действия, отличающиеся от похожих других (ср. не самостоятельно совершаемые и не управляемые полеты на аэроплане), каковым может быть лицо, не обязательно делающее это профессионально или имеющее к этому разрешение;

⁴ «...новые общественно-политические значения и оттенки значений изначально нейтральных, неидеологизированных слов», или политизированные, «советские» лексико-семантические варианты: *беседа* ‘собеседование на политические темы’; *болтун* ‘тот, кто разглашает тайну, секретные сведения’ и т.п. [Мокиенко, Никитина 1998: 10]

2) через такие же, совершаемые действия, но требующие специальных умений и подготовки, т.е. действия, представляемые как профессиональная деятельность, похожая на другие и вместе с тем отличающаяся от них (ср.: водитель автобуса, троллейбуса, такси, грузового автомобиля и пр.); 3) к определению совокупности соответствующих навыков, действий, умений и профессиональной деятельности как специальности, отличающей и характеризующей своего обладателя в каком-либо отношении. Развитие представления, следовательно, осуществляется, для данного случая по шкале, укладывающейся в показатели производитель определенного рода действий → деятель в определенного рода сфере, области → обладатель, носитель определенного рода признаков. Показатели, которые связываются с представлением о категориальном и парадигматическом в устройстве интересующего нас предмета, в данном случае в его отношении к социально-временной проекции.

Применительно к языку советской действительности это категориальное и парадигматическое должно укладываться в систему отражаемых референциалий того окруженного внешнего, того представляемого в сознании средствами языка как внешнее и существующее (либо того, что будет существовать), которое характеризуется как советское представление о действительности. Как сама советская экзистенциальная, жизненная реальность и как советское представление о реальности не советской (тавтологии в этом случае не получается избежать). Категориальную и парадигматическую специфику интересующего нас, таким образом, проявления языка будут составлять референциальные соотнесения с имеющимся (имевшимся) в сознании говорящих советским образом существующего. С его оценками, знаниями, значениями, не обязательно и не исключительно повторяющими пропагандистски ориентированные, но связанными, коллективно и опытно переработанными и в известной мере следующими из них, т.е. коррелятивными.

Прежде чем предложить описание данной парадигматики, наметив подход и возможный начальный фрагмент к нему, вернемся к советскому представлению о летчике, но теперь не как к слову в его семантике, а значению как вероятному элементу соответствующей референциальной системы. С тем чтобы на наглядном примере попробовать вывести то, что, с одной стороны, может быть для нее характерно и представлять, намечать подход к дальнейшему описанию, а с другой, что давало бы основание взгляда, позволяло увидеть отличие между словом, семантикой слова русского (советизированного) языка, и словом, в его семантике, отражающей, воплощающей в себе советские

представления о действительности⁵. В ее поступательном осуществлении, революционном развитии, как это было принято определять, имея в виду умение и необходимость видеть и находить в настоящем начатки будущего, которое предстоит и которое следует достигать, работать на него и его приближать, усиливать их, развивать, акцентировать, а следовательно, и на них акцентироваться. Свойство, которое, будучи важным и неотъемлемым для понимания, тем самым, и описания советского представления действительности, было определено нами как продуцируемость и которое, как следствие, предполагает такое ее отражение, которое не обязательно, а часто вовсе и не должно, соответствовать ей как реальности существующего, поскольку задача его в совершенно другом. Задача в том, чтобы отражать ее таковой, каковой она долженствует быть, навязывая ей, включая в нее, подчиняя своим субъективным намерениям, политическим и идеино-концептуальным задачам. А поскольку желания и результат, при слишком сильном, воодушевленно-приподнятом и интенсивном воздействии, напоре со стороны желающего, неизбежно расходятся, все это, действительности навязываемое и приписываемое, как ее настоящее, прошлое или будущее, составляет не реально-действительное, а желательно-продуцирующее, в интересующем нас случае советское, воображение о ней.

Представление о летчике, в контексте сказанного, вписывается в образ, имеющий по крайней мере тройную природу, связываемую (пока условно, поскольку об этом уже говорилось) с идеей действователя, деятеля и обладателя признака. В отношении и с позиции действователя, т.е. лица, человека, точнее образа человека-лица, производящего действия, заключенное в летчике содержание связывается с идеей обеспечения, укрепления, поддержания и устроения того, что существует и создается как новое общественное устройство – страна победившего социализма, СССР. Летчик, в контексте такого своего представления, это тот (*надежные крылья страны*), благодаря которому реализуется план укрепления обороноспособности, обеспечения безопасности настоящих и будущих достижений, безопасности и надежности территории и границ. Он же одно-

⁵ В связи со сказанным возникает еще одна представляющаяся важной проблема, которую на данном этапе придется оставить без рассмотрения, с тем чтобы вернуться к ней после и на основе парадигматического определения системы советской действительности. Проблема, которой отчасти уже приходилось касаться. Речь идет о границах советской в отношении лексического состава. Почему, на основе каких семантических свойств *стахановец*, *передовик*, *ударник*, к примеру, должны и могут определяться как слова-советизмы, а выражющие не менее важные для советского позитива и также часто и регулярно использовавшиеся в советское время *летчик*, *моряк*, *солдат* и т.п., обозначая, передавая что-то неодолимо в себе советское, советизмы вместе с тем не являются.

время тот, кто обеспечивает способность внутритеrrиториального сообщения и перемещения, быстрых и недоступных для других транспортных средств перевозок, доставок, а также химическую либо другую какую-то обработку посевов, массивов, лесных насаждений и т.п. Назовем этот общий, объединяющий данные проявления признак статально-экзистенциальным аффирмативом [лат. *affirmo, affirmatum* 'поддерживать, укреплять'], предлагающим обеспечение, укрепление экзистенциального состояния, статуса, существующего положения советской действительности в ее отношении к институтивной и территориальной стабильности и коммутативности, ненарушенности границ (лимитатива), темпорального обеспечения, длительности во времени (дуратива) и оптатива поддерживающих и обеспечивающих нормальное жизненное функционирование (*vitalia*) сторон. Идея летчика-действователя, таким образом, состоит в таком обобщенно-социализированном результате, итоге, общественном благе свойственных его проявлениям действий, которое определяется смыслом обеспечения и поддержания, аффирматива а) стабильности, б) коммутативности и в) оптатива витального проявления сложившегося положения вещей (*ergum natura*). В отношении и с позиции деятеля идея летчика может быть передана понятием расширения, распространения, выхода за пределы имеющегося, освоенного, и освоения нового, земного и околосемного, пространства (воздуха) – пространственный амплификатив (экстенсив). В отношении и с позиции обладателя, носителя признака ведущими будут направленность поднимающей вверх и вперед, отрывающей, порывающей силы⁶ – от земли, от земного ее притяжения, тяжести, связей, привязанностей, ограничений, условий, условностей и т.п. Идея порыва, отрыва, преодоления – интенсивностный (*super et prae* 'вверх и вперед') абруптив (лат. *abruptio, abruptum* 1) 'отрывать, срывать'; *se a.* 'вырываться'; 2) 'внезапно прерывать, прекращать'; 'нарушать'; 'отделять').

Три выведенных стороны отраженного в определяемом значении проявления дают возможность задаться вопросом об их отношении к определяемому, его значимой для представления советской действительности позиции, ее перцептивного образа в сознании говорящих. Иными словами, поставить вопрос о том, чем является, в разбираемом случае летчик, пред-

ставление о нем, идея и образ его, для сознания носителей языка советской действительности в соответствии с выведенными для него основаниями-признаками.

Другой вопрос будет связан с идеей характера представления. Чем отличаются, в интересующем нас отношении, применительно к описанию будущей парадигмосистемы, понятия действователя, деятеля и обладателя, или носителя, признака. В каких отношениях находятся, могут оказываться не только сами эти понятия, но также и то, что они собой представляют, значения, смыслы, которые передают.

И, наконец, в связи поставленными, не менее важными для понимания описываемой системы могут быть два следующих и также взаимосвязанных, объясняющих смысл процедуры вопроса. Что такое лицо, человек применительно к сознанию носителей языка советской действительности, что и как оно, точнее его идея, содержит в себе и собой воплощает для этой действительности как перцептивного образа. Это было бы одной частью вопроса, другая часть которого заключалась бы в том, чтобы выяснить, чем является идея и смысл, оформление смыслом, лица в предлагаемой к описанию парадигмосистеме, семантическом кодом построении описания языка советской действительности. Второй вопрос касался бы определения образа представляемой действительности. Что она есть, чем является, что представляет собой в двух обозначенных перед этим проекциях – применительно к сознанию носителей ее языка и применительно к предлагаемой семантической форме его описания.

Первый из четырех поставленных, вопрос о позициях трех признаковых сторон описанного значения – обеспечения-поддержания, расширения-распространения и преодоления-отрыва – следовало бы решать в отношении ряда проекций. Социально-темпоральный аспект, отразившийся некоторыми своими особенностями по словарям (ТСУ, МАС, БТС), предполагал бы последовательно развертывающиеся, взаимно переходящие и дополняющие друг друга акценты на обеспечении-поддержании (начальная фаза, отчасти нашедшая отражение в ТСУ, – статально-экзистенциальный аффирматив), на расширении-распространении (конечная, завершенная фаза, передаваемая более в МАС, – пространственный аффирматив-экстенсив) и на преодолении-отрыве (обобщенная фаза после, отраженная, наряду с другими, но в большей степени, чем в МАС и ТСУ, в БТС, – интенсивностный (*super et prae*) абруптив).

Основаниями этих акцентов были бы отношения а) к поставленной перед советским обществом цели строительства социализма (*opus finitum*), предполагающего достижение и поддержание важных для этого оборонных и народнохозяйственных рубежей; б) к советской

⁶ Применительно к сказанному ср.: аналогичное значение для советского мифа о летчике у [Вайс 2007: 42], определяемое им в отношении видающей силы, общей семантики интенсификации и перевода идеи движения вперед в вертикальную плоскость – «вперед и выше!», а также слова популярной в советское время песни, объединяющие разбираемые признаки обладателя, деятеля и действователя, *Все выше и выше и выше Стремим мы полет наших птиц И в каждом пропеллере дышит Спокойствие наших границ...*

стране, как стране и обществу построенного социализма, функционирующему в своем существующем и стабильном режиме, который необходимо, чтобы усиливать, расширять; в) к советским людям и отдельно к каждому советскому человеку, как носителю и воплотителю в жизнь необходимых, составляющих сущность советского отношения к действительности, задач и идей. Эти три позиции-отношения могли бы стать составляющими для того представления, которое кладется нами в основу идеи советской действительности, отображаемой в свойственным ей сознании и языке.

Что касается второго вопроса, о соотношении действователя, деятеля и носителя (обладателя⁷) признака, характеристики эти могли бы укладываться в последовательность одно в другое включаемых представлений. В этом случае действователь мог бы описываться как совершающий действие или действия, наблюдаемый в их совершении, воспринимаемый как такой, который их совершает или в любой предполагающий соответствующие условия момент способен их совершить. Деятель, соответственно, как обобщенное представление действий, внутренне свойственных, присущих, потенциально возможных в своем совершении для лица, не обязательно видимых, представляемых для него в их таком совершении. И, наконец, обладатель – как тот, кто воспринимается не в отношении действий, ему присущих, возможных, потенциальных или им совершаемых, а в отношении внутренних, ему наличных характеристик. В отношении параметров, смыслов, отличающих его от других, составляющих его неотъемлемую природную свойственность.

Три рассмотренных представления человека-лица в его отношении к действиям, определяющим, характеризующим его самого, укладывающиеся в соотношение того, что можно было бы интерпретировать как актуализация – потенциальность – наличие, позволяют наметить решение третьего поставленного вопроса.

⁷ В этом месте хотелось бы обратить внимание на двойственные в ряде случаев характеристики – носитель и обладатель, аффирматив-экстенсив, расширение-распространение, обеспечение-поддержание и т.п., которые не столько загромождают или, напротив, дополнительно уточняют определяемую ими идею, сколько нередко дают представление о двух возможных позициях, направлениях взгляда – извне либо изнутри. Носитель признака, таким образом, будет представлять собой характеристику для взгляда извне, обладатель, напротив, изнутри, для него самого. Аффирматив – как то, что имеет своим направлением выходом силу на подкрепление, поддержание, исходящую изнутри, от себя вовне. Экстенсив – простижение, растягивание, расширение, распространение, овладение – как то, что постигается, воспринимается, обобщается так, соответствующим данному представлению образом, взглядом извне. Расширение, соответственно, будет связано с экстенсивом, распространение – предполагать позицию аффирматива (направление-выход вовне из себя) в экстенсиве, имеющем результатом охватывание, овладение пространством. Подобным образом, но применительно к данному смыслу, могут быть объяснены и другие используемые удвоенные характеристики.

Лицо, человек, применительно к сознанию носителей разбираемого языка, можно было бы представлять как сгусток, пучок внутренне ощущаемых признаков, замкнутых в заключающей их в себе, объединяющей, распознаваемой и потому несущей и значимой для них, оболочке. Признаков, обладающих внутренне наделенной способностью заряжаться, накапливаться и себя проявлять – в наблюдаемом выходе, в отражении, действии, месте, позиции, отношении к советской действительности, той действительности в том ее представлении, о котором речь. Само лицо и сам человек, в отношении к этому сгустку себя отражающих признаков, оказывается, представляется тем, что наделяет их этой способностью, что сообщает динамику и обеспечивает им проявление, придает наблюдаемую, распознаваемую, различающую форму, являясь заряженным ими и одновременно их отображающим, выводящим наружу, кинетическим оформителем-энергетизатором. Иными словами, лицо, человек, в представляемой действительности, существует в ней не как данность, не как обособленность и самоценность, не как биологический и социальный, наблюдаемый, имеющий форму и идентифицирующую его очевидность, репрезентант, индивид, элемент. Но как то, что, будучи свойственно определяемой действительности, воплощающее ее и воплощенное в ней ее живое придает, заряжает энергией этого своего живого и объявляет, выводит наружу некую совокупность свойств, необходимых, типичных, желаемых ей.

Две названных ранее стороны вопроса – отношение к сознанию носителей и к описанию парадигмосистемы, таким образом, совместились в идее того, что представляет собой определяемая действительность и чем является в ней, для ее представления, человек. Деятельность, о которой речь и в контексте сказанного, что и должно найти свое отражение в способе ее представления в предлагаемой парадигмосистеме, а с нею и в ней, соответственно, человек, предстает как организованная определенным образом совокупность признаков. Как своего рода поле их проявления, отражения и обнаружения, не имеющее, в отличие от представления о человеке, способности к энергетизирующему, сообщающему движение, выводящему их из себя проявлению. Как то, что содержит, выводит, вводит, соединяет, разъединяет, организует, меняет, но не оживляет, не динамизирует их. Иными словами, производитель, транслятор, организующее и одновременно продукт и носитель выводимых из нее, на ее основе, ей придаваемых и в ней замечаемых признаков. Деятельность и в ней относящийся к ней человек, наделенный (наделяемый) присущими ей и ему, характерными признаками, становятся распознаваемыми и воспринимаемыми на их основе и в виде их

(действительность также в отдельных своих проекциях и фрагментах), представителями, референтами и репрезентантами которых они выступают. Поскольку действительность и человек распознаются и определяются по этим признакам, признаки эти способны стать средством их характеристики и описания. Парадигматический образ того и другого – советской действительности применительно к позитивному представлению в ней человека – будет предметом дальнейшего рассмотрения.

ЛИТЕРАТУРА:

- Апресян Ю. Д. О языке для описания значений слов // Известия АН СССР ОЛЯ. – 1969. – № 5.
- Апресян Ю. Д. Семантическая модель анализа // Апресян Ю. Д. Идеи и методы структурной лингвистики. – М., 1966.
- Большой толковый словарь русского языка. (БТС) / Гл. ред. С. А. Кузнецов. – Санкт-Петербург, 2000.
- Вайс Д. Сталинистский и национал-социалистический дискурсы пропаганды: сравнение в первом приближении // Политическая лингвистика. – 2007. – № 3 (23).
- Вежбицка А. Антитоталитарный язык в Польше. Механизмы языковой самообороны // Вопросы языкоznания. – 1993. – № 4.
- Винокур Г. О. Культура языка. – М., 1929.
- Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен двадцатого века // Вопросы философии. – 1992. – № 2.
- Данилов С. Ю. Жанр проработки в тоталитарной культуре // Стереотипность и творчество в тексте. – Пермь, 1999.
- Елистратов В. С. Словарь русского арго (материалы 1980-1990-х гг.). – М., 2000.
- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный (т. 1-2). – М., 2000.
- Жолковский А. К., Леонтьева Н. Н., Мартемьянов Ю. С. О принципиальном использовании смысла при машинном переводе // Машинный перевод, Труды Ин-та ТМ и ВТ АН СССР. - Вып. 2. – М., 1961.
- Жолковский А. К., Мельчук И. А. К построению действующей модели языка «Смысл ↔ Текст» // Машинный перевод и прикладная лингвистика. – Вып. 11. – М., 1969,
- Зильберт Б. А. Языковая личность и «новояз» эпохи тоталитаризма // Языковая личность и семантика. – Волгоград, 1994.
- Карцевский С. И. Язык, война и революция // Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. – М., 2000.
- Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. – Екатеринбург – Пермь, 1995.
- Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры // Серия «*Studia Humanitatis*». – Том V. – Екатеринбург, 1999.
- Мартемьянов Ю. С. К построению языка лингвистических описаний // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, АН СССР. – М., 1964.
- Мартынов В. В. Универсальный семантический код. – Минск, 1977.
- Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб., 1998
- Ожегов С. И. К вопросу об изменениях словарного состава русского языка в советскую эпоху // Вопросы языкоznания. – 1953. – № 2.
- Ожегов С. И. Основные черты развития русского языка в советскую эпоху // Известия ОЛЯ АН СССР. – 1951. – Вып. 1.
- Панов М. В. О развитии русского языка в советском обществе (к постановке проблемы) // Вопросы языкоznания. – 1962. – № 3.
- Протченко И. Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. Социолингвистический аспект – М., 1975.
- Русский язык и советское общество: 1 – Лексика современного русского литературного языка; 2 – Словообразование современного русского литературного языка; 3 – Морфология и синтаксис современного русского литературного языка; 4 – Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. – М., 1968.
- Русский язык по данным массового обследования. – М., 1974.
- Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). – М., 1928.
- Серио П. Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М., 1999.
- Словарь русского языка в 4-х томах. (МАС) / Гл. ред. А. П. Евгеньева. – 2-е изд. – М., 1981-1984.
- Супрун А. Е. Русский язык советской эпохи. – Л., 1969.
- Толковый словарь русского языка. (ТСУ) / Под ред. Д. Н. Ушакова (т. I-IV). – М., 1935-1940.
- Шарифуллин Б. Я. О лексике и фразеологии политизированного языка // Лексика и фразеология: Новый взгляд. – М., 1990.
- Arendt H. Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg i M. Szawiel. – Warszawa, 1989.
- Bednarczuk L. Nowo-mowa (zarys problematyki i perspektywy badawcze) // Nowo-mowa. – Warszawa, 1984.
- Bralczyk J. O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. – Warszawa, 2001.
- Dieckmann W. Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik den politischen Sprache. – Heidelberg, 1969.
- Język propagandy, red. S. Amsterdamski, A. Jawłowska, T. Kowalik. – Warszawa, 1979.
- Luczaj L. Zniewolony język // Kultura. – 1980. – Nr 12.
- Pisarek W. Język służy propagandzie. – Kraków, 1979.
- Rzevskij L. Jazyk i totalitarizm. – München, 1951.

© Червиньски П., 2008